

На переломе — эпизод 3 из 27

Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла уgomониться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду слышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволклось новыми впечатлениями, все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнили сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия таким неуютным и суровым местом, а он сам таким несчастным, заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колючий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на

темноту. Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какой гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон... Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу. Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп с контр-абажурами.

Заря. Умывалка. Петух и его речь. Учитель русского языка и его странности. Четуха. Одежда. Цыпки.

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та...

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов... Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выспались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами.